



ИЗМЕНА

НА ОСТРИЕ *любви*

УЛЬЯНА СОБОЛЕВА

Ульяна Соболева

Измена. На острие любви

<https://litres.ru/74216259>

SelfPub; 2026

Аннотация

— Он подал на развод, — сказала Зинаида. Голос — ровный, почти ласковый. Так говорят с умирающими. — Бумаги у адвоката. Подпишешь — или нет, без разницы. Через полгода разведут автоматически. Он знает - ребенок не его!

— Нет. Это ложь!...

— Да.

— Нет! Это неправда! Он любит меня! Я ношу его ребёнка!

Зинаида улыбнулась. Этой её улыбкой — тонкой, ядовитой, от которой хотелось содрать с себя кожу.

— Его ребёнка? — она склонила голову набок. — Милая, он всё знает. Мы все знаем. Твои измены. Твои кражи. Ты получила то, что заслужила.

— Я не изменяла! Я ничего не крала!

— Это расскажешь судье. Хотя вряд ли он поверит. Доказательства — железные. Подписи, счета, свидетели. Всё как полагается.

Она встала. Поправила пальто. Одёрнула перчатки — тонкие, кожаные, наверняка стоят больше, чем я зарабатывала за месяц.

— Я предупреждала его, — сказала она. — С самого начала. Детдомовская кровь. Нищета. Безродность. Это в генах, это не вытравишь.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	14
Глава 3	32
Глава 4	48
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Ульяна Соболева

Измена. На острие любви

Глава 1

Оксана Время: 15 лет назад, 30 декабря

Счастье пахнет мандаринами и его одеколоном.

Я поняла это в тот вечер, когда лежала на его плече и слушала, как за окном хрустит первый настоящий снег. Москва укутывалась в белое, а я — в его руки, и мне казалось, что так будет всегда. Вечно. Что мы заслужили эту тишину, это тепло, этот дом.

— О чём думаешь? — спросил Саша, и его голос прошёлся по моему позвоночнику тёплой волной.

— О том, что боюсь.

— Чего?

— Что это неправда. Что проснусь — а тебя нет.

Он приподнялся на локте. Посмотрел сверху вниз — тёмно-серые глаза, густые брови, ямочка на подбородке, в которую я влюбилась раньше, чем в него самого. Когда он смотрел так — я забывала дышать. Каждый раз. Как в первый.

— Воробей, — сказал тихо. — Я никуда не денусь. Слышишь? Ты от меня теперь не избавишься.

Он положил ладонь на мой живот. Пятый месяц. Там, под

кожей, под рёбрами, под моим сердцем — бился ещё один. Маленький. Наш. Алёша. Мы выбрали имя неделю назад, спорили до хрипоты — он хотел Дмитрий, в честь отца, я хотела Алексей, просто потому что красиво — и он сдался. Он всегда сдавался мне в мелочах. В важном — никогда.

— Толкается, — прошептала я.

Саша замер. Прижал ладонь сильнее — осторожно, бережно. Его лицо изменилось. Стало мягким, открытым, почти детским. Таким я видела его только наедине. На работе он был другим: жёстким, с голосом, от которого подчинённые втягивали головы в плечи. Но здесь, дома, со мной — он становился просто Сашей.

— Привет, мелкий, — сказал он животу. — Это папа. Узнаёшь?

Я засмеялась:

— Он ещё не умеет отвечать.

— Умеет. Вот, снова. Это он говорит «привет».

— Или «отстань, я сплю».

— Нет. Точно «привет». Я знаю своего сына.

Своего сына.

Эти слова прошли сквозь меня разрядом. Не боль — свет. Такой яркий, что защипало глаза.

Я выросла в детском доме. Серов, Свердловская область, дом номер три. Железные кровати в ряд, запах хлорки и пригоревшей каши, одно яблоко на троих, очередь в душ по вторникам. Я не знала, что такое семья. Не знала, как это —

когда тебя ждут. Когда твоё лицо — первое, что кто-то хочет увидеть утром.

Нина Сергеевна, воспитательница, говорила мне: «Ты умная, Оксанка. Учись. Вылезешь». Я училась. Вылезла. Красный диплом психфака, работа в кофейне между парами, комната в коммуналке, сто рублей до зарплаты — но я была в Москве. Я справилась.

А потом появился он.

Александр Дмитриевич Воронов. Владелец строительного холдинга, человек с обложек Forbes, мужчина, на которого оборачивались на улицах. Он мог выбрать любую — моделей, актрис, дочерей министров. А выбрал меня. Сироту. Девочку из кофейни, которая рисовала смешные рожицы на его стаканчике.

Месяц он приходил каждое утро. Молча брал кофе. Молча смотрел. Я думала — показалось. Такие, как он, не смотрят на таких, как я.

А потом он сказал:

— Вы каждый раз рисуете что-то новое. Сегодня — кот. Вчера — ракета. Это система или хаос?

— Зависит от вашего лица с утра.

— И какое у меня лицо сегодня?

— Котовое. Сонное и немного надменное.

Он рассмеялся. Я влюбилась в этот смех раньше, чем поняла, что происходит.

Через год — свадьба. Скромная, как я хотела. В саду, с

ромашками. Его мать сидела с лицом, будто жевала лимон. Но мне было всё равно. Я смотрела только на него.

И вот теперь — наша квартира, наша ёлка, наш сын под сердцем. Как будто сказка. Как будто не со мной.

Тридцатое декабря. До Нового года — сутки с хвостиком. Ёлка стояла в углу гостиной — огромная, под потолок, пахнущая хвоей и детством, которого у меня не было. Саша притащил её сам, отказался от доставки.

— Ты должна увидеть, как я её несу, — сказал он.

И нёс — через весь двор, хохоча, отплёвываясь от иголок, роняя ветки на свои итальянские ботинки. Счастливый. Мой.

Я украшала ёлку, пока он работал в кабинете. Вешала шары — красные, золотые, серебряные. Стекланные, хрупкие, сверкающие в свете гирлянды. Один выскользнул из пальцев и разбился. Я замерла над осколками.

Плохая примета, — мелькнуло в голове.

Глупости. Я не верю в приметы. Детдомовские не верят ни во что, кроме себя.

Я собрала осколки, выбросила, достала новый шар. Красный, с золотой росписью. Повесила на самую верхушку, куда смогла дотянуться на цыпочках.

— Оксана!

Его голос из кабинета. Я улыбнулась. Только он звал меня полным именем. Для всех остальных — Ксюша. Я ненавижу это имя. Ксюша — это кукла с пустыми глазами. А я — Ок-

сана. Та, которую выбрал он.

Он сидел за столом, заваленным бумагами. Очки на носу — надевал, когда читал мелкий шрифт, и ненавидел, когда я это замечала. Считал, что они делают его старым. Я считала — невозможно привлекательным.

— Поедешь со мной завтра?

— Куда?

— На объект. Хочу показать кое-что.

— Саш, завтра тридцать первое. Новый год.

— Я знаю. Поэтому и хочу. Успеем вернуться к вечеру.

Он встал. Подошёл. Обнял сзади, положив ладони на живот — его любимый жест. Будто обнимал нас обоих.

— Там детская площадка, — сказал тихо. — Мы строим жилой комплекс. Я сам проектировал площадку. Хочу, чтобы ты увидела. Через три года наш мелкий будет там качаться на качелях.

Через три года. Он говорил о будущем так легко. Так уверенно. Как будто оно уже существовало.

Я прижалась к нему спиной. Закрыла глаза.

— Поеду.

— Вот и умница.

Он поцеловал меня в макушку. Потом в шею. Потом развернул к себе и поцеловал по-настоящему — глубоко, жадно, так, что колени подогнулись.

— Саш...

— М?

— У тебя совещание через десять минут.

— К чёрту совещание.

— Зинаида Павловна будет недовольна.

Он замер.

Зинаида Павловна. Его мать. Женщина, которая смотрела на меня так, словно я — пятно на её персидском ковре. Которая цедила слова сквозь зубы и называла меня «Ксюшей», хотя знала, как я это ненавижу. Которая сказала однажды, при гостях, с улыбкой, от которой хотелось вымыть руки:

— Детдомовская кровь, Сашенька. Это в генах. Она тебя обманет.

Я промолчала тогда. Я всегда молчала. Потому что боялась: если начну войну — потеряю его. Потому что верила: любовь победит. Растопит лёд. Исправит всё.

— Мама может подождать, — сказал Саша. — А ты — нет.

Он снова притянул меня к себе. И я позволила себе забыть. Холодные глаза свекрови, её улыбки-ножи, её слова, которые оставляли синяки на душе. Забыть всё — кроме его рук, его губ, его сердца, которое стучало напротив моего.

Вечером мы наряжали ёлку вместе.

Он доставал игрушки из коробки, я вешала. Иногда он подхватывал меня, поднимал — «тебе не дотянуться, воробей» — и я смеялась, болтая ногами в воздухе, вцепившись в его плечи.

— Осторожно! Живот!

— Я держу тебя. Всегда буду держать.

Мы зажгли гирлянду. Золотые огоньки отразились в его глазах, и я подумала: вот он, мой дом. Не квартира с высокими потолками. Не адрес в паспорте. Он. Этот человек. Его руки. Его голос. Его смех.

Я столько лет мечтала о доме. В детдоме рисовала его в тетрадке — окна, крыша, дым из трубы. Глупый детский рисунок. Я думала, дом — это стены.

Оказалось — это человек, который ждёт тебя. Это руки, в которые можно упасть. Это голос, который произносит твоё имя так, будто это молитва.

— Загадаем желание? — спросил он.

— Под Новый год загадывают, не сегодня.

— А я хочу сейчас.

Он взял мои руки. Сжал. Посмотрел в глаза — серьёзно, без улыбки.

— Я загадываю, чтобы мы были вместе. Всегда. Что бы ни случилось.

— Саш...

— Дай мне сказать. Я не поэт. Не умею красиво. Но ты — лучшее, что случилось в моей жизни. Ты и он. — Он коснулся моего живота. — Вы — мой мир. Моя семья. И я никогда, слышишь, никогда вас не предаю.

Его голос не дрогнул. Он верил в свои слова. Я видела. И я поверила тоже.

— Я тоже тебя люблю, — прошептала я. — Так сильно,

что иногда больно дышать.

Он обнял меня. Крепко, до хруста. Я уткнулась носом в его шею, вдохнула — кедр, кожа, дом.

— Больно — это плохо, — сказал он. — Давай я буду любить за двоих, а ты — просто дыши.

Я засмеялась сквозь слёзы. Он вытер их большим пальцем.

— Почему ты плачешь, воробей?

— Потому что счастлива. Слишком счастлива. Так не бывает.

— Бывает. С нами — бывает.

Мы легли поздно.

Он обнял меня со спины, положил руку на живот. Алёша толкнулся — раз, другой, третий.

— Не спит, — прошептал Саша. — Весь в меня. Я тоже сова.

— А я жаворонок.

— Поэтому мы идеальны. Я буду вставать к нему ночью, а ты — утром.

— Договорились.

Он прижал меня крепче. Его дыхание грело шею.

— Оксана.

— М?

— Спасибо.

— За что?

— За то, что ты есть. За то, что выбрала меня. За него.

За всё.

Я закрыла глаза. Слёзы снова потекли — тёплые, счастливые.

— Я люблю тебя, — сказала я.

— Я тебя тоже. Больше, чем ты знаешь.

Он уснул первым. А я лежала, слушала его дыхание, слушала тишину за окном — снежную, декабрьскую — и думала: это и есть счастье. Вот оно. Здесь и сейчас.

Алёша толкнулся под рёбрами. Я положила руку туда, где чувствовала его пятку — или локоть, или коленку, я ещё не научилась различать.

— Спи, маленький, — прошептала я. — Папа рядом. Мама рядом. Всё хорошо.

Всё хорошо.

Я уснула с улыбкой.

Тридцать первого декабря он повезёт меня смотреть детскую площадку. Мы будем пить шампанское под бой курантов. Загадаем желание — вместе, глядя друг другу в глаза.

А потом он уедет в командировку.

И всё изменится.

Но этой ночью — последней ночью моей прежней жизни — я этого не знала.

Я просто любила.

Разве этого мало?

Глава 2

Оксана

Есть звуки, которые меняют жизнь навсегда.

Первый крик ребёнка. Последний вздох умирающего. Три слова «я тебя люблю», сказанные нужным человеком в нужный момент.

И звонок в дверь в шесть утра.

Я проснулась от него рывком — так просыпаются от кошмара, с колотящимся сердцем и пересохшим горлом. За окном было темно. Московское январское утро — хуже ночи: чёрное, злое, с ледяным ветром, который выл в щелях старых рам.

Саша уехал вчера. Командировка в Питер, три дня. Поцеловал меня в лоб, потом в живот, сказал: «Ждите, скоро вернусь». Я смотрела из окна, как его машина выезжает со двора, и думала: три дня — это так много. Целая вечность без него.

Если бы я знала.

Звонок повторился. Длинный, настойчивый, требовательный.

Я села на кровати. Сердце колотилось где-то в горле. Кто приходит в шесть утра? Курьер? Нет, слишком рано. Соседи? Зачем?

Саша.

Может, он вернулся? Забыл ключи?

Я вскочила, набросила его футболку — ту, в которой спала, потому что пахла им — и пошла к двери. Босиком, по холодному паркету. Алёша толкнулся под рёбрами, будто тоже проснулся, тоже почувствовал что-то.

— Тихо, маленький, — прошептала я, положив руку на живот. — Сейчас посмотрим, кто там.

Я нажала кнопку домофона. Экран замигал, показывая чёрно-белую картинку с подъезда.

Не Саша.

Четверо мужчин. Форма. Бронежилеты. Лица — серые, как январский рассвет.

— Кто там? — голос охрип со сна.

— Откройте. Полиция.

Полиция.

Я нажала на кнопку, не думая. Полиция — это же хорошо, правда? Это защита. Это порядок. Может, что-то с машиной во дворе? Может, соседи пожаловались на шум? Какой шум — я была одна, спала...

Мысли путались, наскакивали друг на друга, как испуганные птицы в клетке.

Я открыла дверь.

И мир рухнул.

Их было четверо. Одинаковые лица, одинаковые глаза — пустые, равнодушные, как у манекенов.

— Оксана Александровна Воронова?

— Да... — я прижала руку к животу. Инстинктивно. Защитить.

— Вы задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Вот ордер.

Мне сунули бумагу. Я смотрела на буквы, но не могла прочитать — они расплывались, прыгали, превращались в чёрных муравьёв, которые ползли по белому листу.

— Это ошибка, — сказала я. — Вы ошиблись адресом. Я ничего не...

— Руки за спину.

— Что? Нет! Подождите! Я беременна! Мне нужно позвонить мужу!

Меня развернули. Грубо, резко. Запястья завели за спину. Холодный металл наручников — как укусы змеи.

— Осторожнее! — закричала я. — Живот! Пожалуйста! Никто не ответил.

Меня вели по коридору, мимо нашей спальни, мимо кухни, где ещё стояла немытая чашка от вечернего чая. Мимо ёлки — той самой, которую мы наряжали вместе, на которой всё ещё горела гирлянда, забыла выключить перед сном.

Золотые огоньки мигали мне вслед.

— Позвоните мужу! — кричала я. — Александр Воронов! Он всё объяснит! Это ошибка!

Обыск. Они рылись в наших вещах — в шкафах, в ящиках, в моём столе. Один из них достал что-то из-под стопки бумаг.

— Флешка, — сказал он.

— Это не моё! Я никогда её не видела!

Никто не слушал.

Меня вывели из квартиры. По лестнице — мимо соседских дверей, которые приоткрывались одна за другой. Любопытные глаза. Шёпот. Я видела старушку с третьего этажа — ту, которой помогала носить сумки, — она смотрела на меня как на прокажённую.

— Что случилось? — спросила она кого-то. — Что она сделала?

Что я сделала?

Ничего. Я не сделала ничего. Я любила мужа, носила ребёнку, украшала ёлку. Я была счастлива. Разве за это арестовывают?

Машина. Железная клетка на колёсах. Меня затолкали внутрь — голова ударилась о притолоку, в глазах вспыхнуло белым.

— Саша, — прошептала я. — Саша, Саша, Саша...

Его имя — как молитва. Как заклинание. Как последняя ниточка, которая связывала меня с реальностью.

Он приедет. Он всё исправит. Он не бросит меня.

Он обещал.

Знаете, что самое страшное в падении?

Не удар о землю. Не боль, не хруст костей.

Самое страшное — это секунда, когда ты ещё летишь. Когда земля несётся навстречу, а ты ничего не можешь сделать.

Только смотреть. Только ждать.

Я летела всю дорогу до СИЗО. Смотрела в зарешёченное окно автозака на Москву, которая просыпалась — фонари гасли, люди спешили на работу, мир продолжал жить, как будто ничего не случилось. Как будто внутри этой железной коробки не умирала женщина.

Детдомовские не плачут. Нас этому отучили рано. Слезы — слабость. Слабых бьют. Слабых не жалеют — добивают.

Но в то утро я плакала. Беззвучно, зажав рот ладонью, давась солёным. Плакала — и повторяла его имя.

Он приедет.

Он не бросит.

Он любит меня.

Любит же?

СИЗО.

Серое здание за колючей проволокой. Я видела такие в кино — никогда не думала, что окажусь по эту сторону экрана. Хотя чего я ждала? Детдомовских жизнь не балует. Я просто забыла об этом на время. Поверила в сказку. Расслабилась.

Процедура оформления. Отпечатки пальцев — чёрная краска, которая потом не отмывалась неделю. Фото анфас и профиль. Досмотр — чужие руки на моём теле, равнодушные, как у мясника.

— Беременна? — спросила женщина в форме, глядя на мой живот.

— Да. Пятый месяц.

Она что-то записала. Равнодушно, без эмоций. Пятый месяц — просто цифра в графе.

— Родственники есть?

— Нет.

Одно слово. Короткое, привычное. Я произносила его всю жизнь — на каждой комиссии, в каждой анкете, в каждом документе. Родственники? Нет. Родители? Нет. Кто может забрать в случае? Никто.

Никто.

— Камера шесть.

Коридор. Лампы под потолком — тусклые, мигающие, как в фильмах ужасов. Запах хлорки, пота и чего-то ещё — кислого, тошнотворного. Запах страха. Он въедается в стены, в одежду, в кожу. Он напомнил мне детдом — ту же хлорку, тот же холод, то же ощущение, что ты никому не нужен.

Я думала, что сбежала из того мира. Выцарапалась. Построила другую жизнь.

Оказалось — мне просто дали поиграть в нормального человека. А теперь забрали обратно.

Железная дверь. Лязг замка.

— Входи.

Камера. Двенадцать квадратных метров. Восемь женщин. Нары в два яруса — железные, с тонкими матрасами. Окно под потолком — узкое, как бойница, с матовым стеклом. Унитаз в углу — без перегородки, без стыда.

Как в детдоме. Точно как в детдоме. Только там нас было

тридцать в комнате, а здесь — восемь. Роскошь.

Восемь пар глаз уставились на меня.

— Новенькая, — сказала одна, с короткой стрижкой и татуировкой на шее. — За что?

— Я... я не знаю. Говорят, мошенничество. Но я ничего не делала.

Кто-то хмыкнул. Кто-то засмеялся.

— Все мы тут ничего не делали, куколка.

Я села на пустые нары. Нижний ярус, у стены. Матрас провонял потом и мочой. Меня затошнило.

Алёша толкнулся. Сильно, требовательно. Будто спрашивал: мама, где мы? Что происходит?

— Тихо, маленький, — прошептала я, обхватив живот руками. — Папа скоро приедет. Заберёт нас. Это ошибка. Просто ошибка.

Женщина с татуировкой смотрела на меня долго. Потом сказала:

— Брюхатая?

— Да.

— Срок?

— Пятый месяц.

— Хреново. Муж есть?

— Да.

— Придёт?

— Да, — сказала я. — Конечно, придёт.

Она хмыкнула. В её глазах мелькнуло что-то похожее на

жалость. Или презрение. Здесь это почти одно и то же.

— Ну-ну.

Она отвернулась. Разговор окончен.

Я сидела на нарах, обняв живот, и смотрела в стену. Серая штукатурка, трещины, чьи-то царапины — имена, даты, маты. История боли, написанная ногтями на бетоне.

Сколько женщин сидели здесь до меня? Сколько плакали, кричали, молились?

Сколько ждали тех, кто никогда не пришёл?

Первый день.

Я не ела. Не могла — кусок не лез в горло. Баланда — так они называли суп — пахла тухлятиной. Хлеб — сырой, липкий. Чай — бурда без цвета и вкуса.

В детдоме кормили лучше. Или мне так казалось, потому что я была ребёнком и не знала, что бывает иначе.

Алёша толкался чаще. Тревожнее. Он чувствовал мой страх.

— Прости, маленький, — шептала я. — Прости. Мама справится. Мама сильная.

Я повторяла это как мантру. Как молитву. Как ложь, в которую пыталась поверить.

Мама сильная.

Мама справится.

Папа приедет.

Второй день.

Допрос. Меня вывели из камеры, провели по коридорам

— бесконечным, одинаковым, как в кошмаре — и посадили в комнату с железным столом и двумя стульями.

Следователь — мужчина лет пятидесяти, с усами и равнодушными глазами рыбы на прилавке — разложил передо мной бумаги.

— Оксана Александровна. Вы обвиняетесь в мошенничестве в особо крупном размере. Хищение средств благотворительного фонда «Ворон» на сумму сорок семь миллионов рублей.

— Что? Нет! Я работала в этом фонде, но я ничего не крала!

— Вот ваши подписи на договорах.

Он показал мне бумаги. Да, похоже на мои подписи. Мой почерк. Только...

— Я не подписывала это. Это подделка!

— Вот транзакции с вашей корпоративной карты.

— Я не делала этих переводов!

— Вот счёт на ваше имя в другом банке. На него поступали деньги.

— У меня нет никакого счёта!

Он смотрел на меня — устало, скучающе. Сколько женщин говорили ему то же самое? Сколько плакали, клялись, умоляли? Для него я была просто строчкой в деле. Номером. Никем.

— Советую сотрудничать со следствием, — сказал он. — Признание вины смягчит приговор.

— Я не виновата!

— Это решит суд.

— Мне нужен адвокат! Мой муж наймёт адвоката!

— Муж? — он заглянул в бумаги. — Воронов Александр Дмитриевич?

— Да!

— Он не отвечает на запросы следствия.

Не отвечает.

Что значит — не отвечает?

Меня отвели обратно. Я шла по коридору на негнущихся ногах, и мир качался, как палуба корабля в шторм.

Сорок семь миллионов.

Моя подпись на документах.

Счёт на моё имя.

Муж не отвечает на запросы.

Как? Почему? Что происходит?

Третий день.

Я написала Саше. Первое письмо.

У нас забирали бумагу и ручку после написания — выдавали на час, не больше. Я писала быстро, захлёбываясь словами, роняя слёзы на строчки.

«Саша, любимый мой.

Меня арестовали. Обвиняют в краже денег из фонда. Это неправда, клянусь тебе всем, что у нас есть. Я ничего не делала. Ты знаешь меня. Ты знаешь, что я не способна на это.

Пожалуйста, приезжай. Пожалуйста, вытащи меня отсю-

да. Мне так страшно, Саша. Так страшно.

Алёша толкается. Он скучает по папе. Я тоже.

Я люблю тебя. Жду.

Твоя Оксана, твой воробей».

Письмо забрали. Сказали — отправят.

Я ждала ответа. День. Два. Неделю.

Ничего.

Четвёртый день. Пятый. Шестой.

Я просила о свидании. Каждый день. Это стало ритуалом — единственным, что держало меня на плаву.

— Воронов Александр Дмитриевич. Мой муж. Он должен был записаться.

— Никто не записывался.

— Проверьте ещё раз. Пожалуйста.

— Не записывался. Следующая.

Седьмой день. Восьмой.

Я написала второе письмо. Третье. Пятое. Десятое.

Ответа не было.

Может, не доходят? Может, теряются на почте? Может, он не получил, не знает, ищет меня, сходит с ума?

Ночами я представляла: он звонит по всем больницам, моргам, отделениям полиции. Он нанимает детективов. Он поднимает все свои связи. Он не спит, не ест, не живёт — потому что меня нет рядом.

Он любит меня. Он не может просто... исчезнуть.

Или может?

Нет. Не думать об этом. Не сметь.

Детдомовские не верят в сказки. Но я поверила. Один раз.

Ему.

Он не может меня предать.

Не может.

Двадцатый день.

Сокамерницы перестали смотреть на меня как на чужую. Женщина с татуировкой — её звали Марго, она сидела за убийство сожителя, который бил её пятнадцать лет — иногда делилась едой.

— Ешь, — говорила она. — Ребёнку надо.

Я ела. Через силу, давясь, — но ела. Ради Алёши.

— Муж не приходит? — спросила она однажды.

— Пока нет.

— Сколько ждёшь?

— Двадцать дней.

Она хмыкнула. Прикурила сигарету — здесь это была валюта, за сигареты можно было купить что угодно.

— Мой тоже не пришёл. Никто не пришёл. За пятнадцать лет — ни одного свидания.

— У меня по-другому.

— У всех по-другому, куколка. Пока не станет одинаково.

Я отвернулась к стене. Не хотела слушать. Не хотела верить.

У меня по-другому. Саша — не такой. Саша любит меня. Любит же?

Сорок третий день.

Сорок три письма. Ни одного ответа. Ни одного свидания. Ни одного знака, что он вообще существует.

Я похудела так, что рёбра торчали сквозь кожу. Щёки ввалились. Волосы лезли клоками — от стресса, от еды, от воды, которая воняла ржавчиной. Только живот рос — упрямо, вопреки всему. Алёша жил, толкался, напоминал: мама, я здесь. Мама, держись.

Ты — всё, что у меня есть, малыш. Всё, что осталось.

Сорок третий день. Я сидела на нарах, смотрела в стену и считала трещины. Сто сорок семь. Я знала каждую.

Дверь камеры лязгнула.

— Воронова. На свидание.

Сердце остановилось. Потом рвануло с места — бешено, больно, до звона в ушах.

Саша. Наконец-то. Наконец-то!

Я вскочила. Побежала — насколько можно бежать с животом — по коридору, в комнату свиданий.

Дверь. Стол. Два стула.

На одном сидела женщина.

Не Саша.

Зинаида Павловна.

Мир не рухнул. Он просто стал серым. Бесцветным. Мёртвым.

Свекровь выглядела безупречно. Как всегда. Дорогое пальто, жемчуг на шее, причёска волосок к волоску. Духи —

сладкие, удушающие — заполнили комнату.

Она смотрела на меня — на мои грязные волосы, на тюремную робу, на живот, на тёмные круги под глазами — и в её взгляде было что-то похожее на удовольствие. Кошка, которая наконец-то загнала мышь в угол.

— Где Саша? — выдохнула я. — Почему он не приходит?

Она достала из сумки газету. Положила на стол. Развернула.

— Читай.

Светская хроника. Фотография.

Саша. В смокинге. С бокалом шампанского. Рядом — женщина. Высокая, красивая, с каштановыми волосами. Её рука — на его плече. Он улыбается.

Элина. Элина Крашевская. Она работала в его компании. Я видела её пару раз — вежливая, приятная, ничего особенного. Ничего, за что можно было бы зацепиться.

Заголовок: «Наследник строительной империи и дочь медиамагната: новая пара сезона».

— Не понимаю... — мой голос был чужим. Далёким. Мёртвым. — Это...

— Он подал на развод, — сказала Зинаида. Голос — ровный, почти ласковый. Так говорят с умирающими. — Бумаги у адвоката. Подпишешь — или нет, без разницы. Через полгода разведут автоматически.

— Нет.

— Да.

— Нет! Это неправда! Он любит меня! Я ношу его ребёнка!

Зинаида улыбнулась. Этой её улыбкой — тонкой, ядовитой, от которой хотелось содрать с себя кожу.

— Его ребёнка? — она склонила голову набок. — Милая, он всё знает. Мы все знаем. Твои измены. Твои кражи. Ты получила то, что заслужила.

— Я не изменяла! Я ничего не крала!

— Это расскажешь судье. Хотя вряд ли он поверит. Доказательства — железные. Подписи, счета, свидетели. Всё как полагается.

Она встала. Поправила пальто. Одёрнула перчатки — тонкие, кожаные, наверняка стоят больше, чем я зарабатывала за месяц.

— Я предупреждала его, — сказала она. — С самого начала. Детдомовская кровь. Нищета. Безродность. Это в генах, это не вытравишь. Ты можешь надеть дорогое платье, жить в хорошей квартире, но внутри ты всегда останешься тем, что есть. Грязью. Которая липнет к чужим ботинкам.

Я молчала. Не могла говорить. Горло сжалось так, что не проходил воздух.

— Не пиши ему больше, — добавила она уже от двери. — Он не читает. Я сжигаю твои письма, не распечатывая.

Она ушла.

Дверь закрылась.

Я осталась одна — с газетой, с его фотографией, с её рукой

на его плечо.

Говорят, у каждого человека есть предел.

Точка, после которой ломается что-то внутри. Хрустит, как кость. Рвётся, как сухожилие. Гаснет, как свет.

Я нашла свою точку в ту минуту.

Сидела в комнате для свиданий, смотрела на его улыбку — ту самую, которую любила, ради которой жила — и чувствовала, как что-то умирает внутри. Медленно, тихо, необратимо.

Он подал на развод.

Он знает о моих изменах.

Которых не было.

Он знает о моих кражах.

Которых не было.

Кто-то ему показал доказательства. Кто-то сплёл паутину лжи — идеальную, непробиваемую. И он поверил. Не мне — им. Не своей жене — чужим людям.

Он обещал: «Я никогда вас не предам».

Он обещал: «Ты от меня не избавишься».

Он обещал, обещал, обещал.

А обещания — это просто слова. Воздух. Ничто.

Меня вернули в камеру.

Марго посмотрела на моё лицо и ничего не спросила. Молча подвинулась, освобождая место на нарах. Молча протянула кружку с чаем — тёплым, почти горячим. Роскошь.
— Пей.

Я выпила. Не чувствуя вкуса. Не чувствуя ничего.

— Муж? — спросила она наконец.

— Бывший.

Одно слово. Короткое. Окончательное.

— Не придёт?

— Нет.

Она кивнула. Будто знала. Будто все здесь знали — с первого дня.

— Добро пожаловать в клуб, куколка.

Той ночью я лежала на нарах и смотрела в потолок.

Алёша толкался — слабо, тревожно. Будто чувствовал, что что-то изменилось. Что мама стала другой. Что мир стал другим.

— Прости, маленький, — прошептала я. — Прости, что так вышло.

Папы не будет. Папа нас бросил. Папа выбрал другую женщину — красивую, с хорошей фамилией, с нужными связями. Не сироту. Не детдомовку. Не грязь на его ботинках.

Зинаида была права. С самого начала была права.

Детдомовские не выбирают. Нас просто подпускают близко — поиграть в нормальную жизнь. А потом возвращают на место.

Я положила обе руки на живот. Почувствовала Алёшу — маленького, беззащитного. Моего. Единственного.

— Ничего, — сказала я вслух. — Справимся. Мы с тобой справимся. Нам никто не нужен. Слышишь? Только ты и я.

Мы выберемся. Я обещаю.

Я обещаю.

Это были первые слова, которые я сказала без него. Без мысли о нём. Без надежды на него.

Первые слова новой жизни.

Страшной. Холодной. Но — моей.

Есть боль, от которой кричат.

Есть боль, от которой плачут.

А есть боль, от которой замолкают.

Я замолчала.

Но внутри — там, где раньше жила любовь — начало расти что-то другое. Тёмное, холодное, терпеливое.

Я ещё не знала ему имени.

Потом узнаю.

Ненависть.

Глава 3

Оксана

Тишина бывает разной.

Бывает тишина перед рассветом — мягкая, обещающая, полная надежды. Бывает тишина после грозы — усталая, очищенная, пахнувшая озоном. Бывает тишина между двумя ударами сердца — короткая, как вздох.

А бывает тишина, в которой ты тонешь. Медленно, беззвучно. Когда мир продолжает существовать, люди продолжают говорить, а ты — не слышишь. Ничего. Никого. Только гул в голове, похожий на шум моря в ракушке.

Только это не море. Это пустота.

После визита Зинаиды я перестала ждать.

Сорок три письма — без ответа. Сорок три дня — без свидания. Сорок три ночи — без сна, с его именем на губах, как с молитвой.

И одна газета. Одна фотография. Одна улыбка на чужом лице.

Этого оказалось достаточно.

Человек может вынести многое. Боль, голод, страх, унижение. Мы созданы для выживания — это вшито в нас на уровне ДНК. Детдомовские знают это лучше других. Мы выживаем там, где другие ломаются. Мы встаём там, где другие сдаются.

Но есть одна вещь, которую вынести невозможно.

Предательство того, кому ты отдал всё.

Дни потеряли форму.

Они сливались в одну бесконечную серую массу — подъём, баланда, прогулка в бетонном колодце, снова баланда, отбой. Я механически выполняла всё, что требовали. Ела, хотя не чувствовала вкуса. Спала, хотя не отдыхала. Дышала, хотя не жила.

Марго смотрела на меня с чем-то похожим на беспокойство.

— Эй, куколка. Ты как?

— Нормально.

— Врёшь.

Я не отвечала. Что тут скажешь? Что я умерла внутри? Что на месте сердца теперь — чёрная дыра, которая засасывает всё живое? Что единственное, что держит меня на плаву — толчки под рёбрами, маленькие ножки, которые напоминают: мама, я здесь, мама, держись?

— Ребёнку надо, чтобы ты была в порядке, — сказала Марго. — Забей на мужика. Они все суки. Но пузо — это твоё. Это никто не отнимет.

Никто не отнимет.

Я положила руку на живот. Алёша толкнулся — слабо, будто тоже устал.

— Прости, маленький, — прошептала я. — Мама соберётся. Обещаю.

Я не знала тогда, что некоторые обещания невозможно сдержать.

Суд назначили на апрель.

Три месяца в СИЗО. Три месяца в камере на двенадцать метров. Три месяца без неба, без солнца, без воздуха, который не провонял бы хлоркой и страхом.

Живот вырос. Восьмой месяц. Алёша толкался всё реже — ему тесно, сказала тюремная врачиха при осмотре. Норма для третьего триместра. Не волнуйтесь.

Не волнуйтесь.

Я не волновалась. Я вообще ничего не чувствовала. Это было похоже на анестезию — когда тебе режут, а ты смотришь со стороны, отстранённо, равнодушно. Не твоё тело. Не твоя боль. Не твоя жизнь.

Адвокат — бесплатный, государственный, с усталыми глазами и портфелем, который помнил ещё советские времена — приходил дважды.

— Дело сложное, — говорил он. — Доказательства серьёзные. Подписи, счета, показания свидетелей.

— Я ничего не делала.

— Я вам верю. Но суд верит бумагам.

— Экспертиза подписи...

— Проведена. Заключение — подписи ваши.

— Это невозможно!

Он пожал плечами. Устало, равнодушно. Сколько таких, как я, сидели перед ним? Сколько кричали о невиновности?

Для него это просто работа. Для меня — жизнь.

— Советую признать вину, — сказал он. — Раскаяние смягчит приговор.

— Я не буду признавать то, чего не делала.

— Ваше право.

Он ушёл. Я осталась.

Ночью, на нарах, я думала: кто? Кто это сделал? Подпи-
си — поддельные, но экспертиза куплена. Счета — открыты
на моё имя без моего ведома. Флешка — подброшена в мой
стол.

Кто имел доступ? Кто имел мотив? Кто имел связи, чтобы
провернуть такое?

Ответ лежал на поверхности. Я просто не хотела его ви-
деть.

Зинаида. Элина. Может быть — они вместе.

Они сделали это, чтобы убрать меня. Чтобы он остался
один. Чтобы дорога была свободна.

И он — позволил.

Он поверил. Не проверил. Не усомнился. Не пришёл
спросить: правда ли?

Может, он знал. С самого начала. Может, сам был частью
плана.

От этой мысли меня выворачивало наизнанку. Тошнота
подкатывала к горлу, кости ломило, будто их выкручивали
изнутри.

Нет. Нет, я не могу в это верить. Если он знал — тогда всё

было ложью. Каждое слово, каждый поцелуй, каждая ночь.

Я не переживу этого.

Я уже не переживала.

День суда.

Меня вывели из камеры в пять утра. Автозак, наручники, решётки. Москва за окном — весенняя, грязная, серая. Снег таял, превращая улицы в месиво из воды и реагентов. Люди спешили по делам — на работу, в магазины, к друзьям. Никто не смотрел на автозак. Никому не было дела до женщины внутри.

Здание суда. Коридоры, лестницы, двери. Меня посадили в клетку — железную, с прутьями, как в зоопарке. Только звери в зоопарке хотя бы знают, за что их заперли.

Зал судебных заседаний. Судья — женщина лет пятидесяти, с седыми волосами и лицом, на котором ничего нельзя было прочесть. Прокурор — молодой, амбициозный, с голодным блеском в глазах. Мой адвокат — сонный, равнодушный, заранее проигравший.

Скамья для публики.

Я смотрела туда — искала его лицо. Глупо, безнадежно, инстинктивно. Как собака ищет хозяина, который её бросил.

Его не было.

Зинаида — была. В первом ряду. В чёрном костюме, с жемчугом на шее. Она смотрела на меня сквозь прутья клетки и улыбалась. Той самой улыбкой.

Рядом с ней — Элина. Тоже в чёрном. Тоже с улыбкой.

Две женщины, которые уничтожили мою жизнь. Сидели и смотрели, как меня будут хоронить заживо.

— Встать, суд идёт!

Я встала. Ноги не держали. Живот тянул вниз. Алёша толкнулся — сильно, тревожно.

— Тихо, маленький, — прошептала я одними губами. — Тихо. Мама справится.

Очередная ложь. Я ничего не могла. Ничего не контролировала. Я была марионеткой в чужом спектакле, и кукловоды сидели в первом ряду.

Процесс длился четыре часа.

Прокурор говорил — много, уверенно, с документами в руках. Подписи. Счета. Переводы. Показания свидетелей — людей, которых я не знала, которые клялись, что видели, слышали, знали.

Мой адвокат возражал — вяло, для протокола. Он уже сдался. Может, сдался с самого начала.

Меня спрашивали — признаю ли вину. Я говорила: нет. Нет, нет, нет. Как заезженная пластинка. Как молитву.

Никто не слушал.

Когда дали последнее слово, я встала. Посмотрела на судью.

— Я невиновна, — сказала я. — Меня подставили. Подписи — поддельные. Счета — открыты без моего ведома. Я не краля денег. Я никого не обманывала. Я просто любила человека, который меня предал.

Мой голос сорвался. Слёзы потекли — впервые за недели. Я вытирала их, но они шли и шли.

— Я беременна, — продолжала я. — Восьмой месяц. Мой сын ни в чём не виноват. Пожалуйста... Пожалуйста, учтите это.

Судья смотрела на меня. Её лицо не изменилось.

Зинаида в первом ряду — тоже смотрела. И улыбалась.

Приговор.

— ...признать виновной в мошенничестве в особо крупном размере... назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима...

Пятнадцать лет.

Пятнадцать.

Я не слышала остального. Шум в ушах заглушил всё — голос судьи, шёпот в зале, звон наручников на моих запястьях.

Пятнадцать лет. Мне двадцать пять. Когда я выйду — будет сорок. Моему сыну будет пятнадцать. Он вырастет без меня. Пойдёт в школу без меня. Скажет первое слово без меня.

Если... если нам вообще позволят быть вместе.

Я посмотрела на Зинаиду. Она встала, поправила жакет. Её глаза сияли триумфом. Она победила. Избавилась от грязи на ботинках своего сына. Теперь дорога свободна.

— Будьте вы прокляты, — сказала я.

Тихо. Одними губами. Но она услышала. Я видела, как дрогнули её губы.

И улыбнулась ей в ответ.

Этап.

Это слово я слышала раньше — в фильмах, в книгах. Не понимала, что оно значит. Теперь — поняла.

Этап — это автозак на двадцать часов. Железная коробка, в которую набито столько людей, что нечем дышать. Это вонь пота, мочи, страха. Это остановки каждые несколько часов — на пересылках, где тебя считают, как скот, где орут, толкают, унижают. Это лица охранников — равнодушные, жёсткие, нечеловеческие.

Я была единственной беременной. Живот мешал — сидеть, стоять, дышать. Алёша толкался — всё реже, всё слабее. Ему не хватало воздуха. Мне тоже.

— Терпи, маленький, — шептала я. — Скоро доедем. Скоро.

Куда — скоро? В колонию строгого режима? Это «скоро» — на пятнадцать лет?

Но я говорила это — для него. Для себя. Чтобы не сойти с ума.

Женщина рядом — татуированная, с выбитыми зубами — посмотрела на мой живот.

— Первый?

— Да.

— На зоне родишь?

— Наверное.

— Хреново. Заберут сразу.

— Что?

— Ребёнка. Заберут. В дом малютки. Ты же осуждённая. Тебе нельзя.

Заберут.

Я схватилась за живот — обеими руками, будто могла защитить.

— Нет. Нет, нет, нет...

— Закон такой, — она пожала плечами. — Малолетки — отдельно от матерей. Может, до трёх лет разрешат видаться. А потом — всё.

Я не могла дышать. Стены автозака сжимались, давили, душили. Алёша толкнулся — слабо, тревожно.

— Мама не отдаст тебя, — прошептала я. — Слышишь? Не отдаст. Никому. Никогда.

Ещё одно обещание, которое не смогу сдержать.

Колония ИК-7. Нижегородская область.

Серое здание за тремя рядами колючей проволоки. Вышки с охраной. Собаки. Прожектора.

Карантин — две недели. Медосмотр. Инструктаж. Распределение.

— Воронова. Беременная. Восьмой месяц, — прочитала женщина в форме. — В санчасть до родов. Потом — общий барак.

— А ребёнок? — спросила я. — Что будет с ребёнком?

Она посмотрела на меня — равнодушно, устало.

— По закону. Дом ребёнка при колонии до трёх лет. Потом — детдом.

Детдом.

Моего сына — в детдом.

Туда, откуда я выбиралась всю жизнь. Железные кровати, хлорка, каша на воде, одно яблоко на троих. Без родителей, без любви, без надежды.

Круг замкнулся.

Я вышла из детдома — и моего сына туда засунут.

Меня вырвало. Прямо там, в коридоре, на бетонный пол. Желчью — больше нечем было.

— Уберите, — сказала женщина. — И в санчасть её. Быстро.

Меня подняли, повели. Ноги не держали. Живот тянул вниз, спина ломилась от боли.

Алёша толкнулся. Один раз. Слабо.

— Я с тобой, маленький, — прошептала я. — Мы вместе. Что бы ни случилось.

Санчасть.

Кровать с железными перилами. Серые стены. Окно с решёткой — матовое стекло, сквозь которое виден только свет. Утро или вечер — не понять.

Врач — женщина лет сорока, с уставшим лицом и руками, которые помнили сотни таких, как я. Беременных зечек. Будущих матерей, которые родят за решёткой.

— Срок большой, — сказала она после осмотра. — Плод маловесный. Стресс, плохое питание. Нужен покой.

— Здесь? — я хрипло рассмеялась. — Покой — здесь?

— Делайте что можете. Лежите, ешьте, не нервничайте.

Не нервничайте. Пятнадцать лет срока. Ребёнка заберут. Муж предал. Жизнь кончена.

Не нервничайте.

— Когда роды? — спросила я.

— Через месяц-полтора. Может, раньше. Малыш торопится.

Малыш торопится.

Алёша. Мой маленький Алёша. Он спешил в мир, который не ждал его. В мир, который отнимет его у матери раньше, чем он научится ходить.

Ночью я лежала на жёсткой кровати и смотрела в потолок. Трещины. Пятна. Облупившаяся краска.

— Прости, что так вышло, — шептала я животу. — Прости, маленький. Ты заслуживал другого. Нормального дома. Отца, который тебя любит. Мать, которая не за решёткой.

Алёша толкнулся. Слабо, еле заметно.

— Но я буду бороться, — продолжала я. — Слышишь? Я не сдамся. Мы выберемся. Как-нибудь, когда-нибудь. Мы будем вместе.

Я обещаю.

Слёзы текли по вискам — в подушку, которая провоняла чужим потом и хлоркой. Я плакала беззвучно, как научилась

в детдоме. Слабых бьют. Слабых не жалеют.

Но здесь, в темноте, одна — я позволила себе быть слабой. Один раз. Последний.

Утром я встану. Надену броню. Буду есть, дышать, жить — ради него.

А сейчас — можно плакать.

Можно.

Знаете, чего я не понимала раньше?

Что любовь — это не только свет. Это ещё и тень, которую она отбрасывает. Чем ярче свет — тем темнее тень.

Я любила его так сильно, что ослепла. Не видела очевидного. Не замечала ненависти свекрови, холодных взглядов Элины, трещин в нашем идеальном мире.

Любовь сделала меня слепой.

Предательство — зрячей.

Теперь я видела всё. Чётко, ясно, безжалостно. Как под рентгеном.

Я видела, как устроен этот мир. Деньги, связи, власть — вот что имеет значение. Не любовь. Не честность. Не верность.

Зинаида купила экспертизу, прокурора, судью. Эдуард Крашевский — отец Элины — наверняка помог. У него медиахолдинг, связи в прокуратуре. Для таких, как он, уничтожить сироту из детдома — всё равно что муху прихлопнуть.

А Саша... Саша просто позволил.

Он не пришёл на суд. Не нанял адвоката. Не попытался

разобраться.

Он поверил им, а не мне.

И это — большее всего.

Не тюрьма. Не пятнадцать лет. Не то, что заберут ребёнка.

То, что он — не пришёл.

Дни в санчасти.

Я ела — через силу, для Алёши. Спала — урывками, просыпаясь от кошмаров. Лежала — часами, глядя в потолок, считая трещины.

Их было сто сорок семь. Я знала каждую.

Марго прислала записку — через санитарку, которая за сигареты делала что угодно. «Держись, куколка. Ты сильнее, чем думаешь».

Сильнее.

Детдомовские — сильные. Нас жизнь закалила раньше, чем мы научились ходить. Мы умеем терпеть боль, глотать слёзы, вставать после ударов.

Но эта боль... эта боль была другой.

Она не била — она выедала изнутри. Медленно, методично, день за днём.

Я думала о нём. Постоянно. Против воли.

Что он делает сейчас? Спит с ней — с Элиной? Смеётся над завтраком? Забыл моё лицо?

Помнит ли он, как я пахну? Как звучит мой голос? Как я закидываю ногу на него во сне?

Помнит ли он хоть что-то — или я уже стёрта, как ошибка,

как случайная клякса на безупречном холсте его жизни?

От этих мыслей хотелось выть. Царапать стены. Биться головой о железную спинку кровати.

Но я не делала этого.

Ради Алёши.

Он толкался — всё реже, всё слабее. Ему оставалось немного. Скоро он появится на свет — здесь, в тюремной больнице, под лампами дневного света, в руках врача, который принял сотни таких детей.

И его заберут.

А я — останусь.

Пятнадцать лет.

Как это пережить? Как проснуться утром и знать, что твой ребёнок — где-то, без тебя, среди чужих людей?

Как вообще жить после этого?

Я не знала тогда, что жизнь готовила мне удар ещё страшнее.

Что Алёшу не заберут в детдом.

Что он не доживёт до этого.

Что через три недели я буду держать его — маленького, синеватого, с глазами цвета серого неба — и считать секунды.

Шестнадцать минут.

Вся его жизнь — шестнадцать минут.

Но в те дни, в санчасти, я ещё не знала. Ещё надеялась. Ещё строила планы — как буду бороться за него, как добьюсь

права на свидания, как выйду раньше за хорошее поведение.

Надежда — жестокая вещь.

Она держит тебя на плаву, когда нужно утонуть.

Она заставляет дышать, когда нужно перестать.

Она обещает: всё будет хорошо, всё наладится, всё обра-
зуется.

А потом — бьёт. Наотмашь. Без предупреждения.

И ты падаешь.

И понимаешь: надежда — это не спасение.

Это отсрочка приговора.

Той ночью я лежала в темноте и слушала тишину.

Не ту, в которой тонут. Другую. Ту, в которой рождается
что-то новое.

Я положила руки на живот. Почувствовала Алёшу — ма-
ленького, тёплого, живого.

— Ты и я, — прошептала я. — Против всего мира. Спра-
вимся.

Он толкнулся. Один раз. Сильно.

Как будто ответил: да, мама. Справимся.

Я закрыла глаза.

Впервые за долгое время — уснула.

Без кошмаров.

Без слёз.

С его именем на губах.

Алёша.

Мой сын.

Моя надежда.

Мой свет — в этой бесконечной тьме.

Глава 4

Оксана

Боль пришла ночью.

Не та боль, к которой я привыкла за эти месяцы — тупая, ноющая, постоянная. Другая. Острая, как лезвие. Она резанула по пояснице, скрутила живот и отпустила. Я выдохнула, вцепившись в железные перила кровати.

Показалось. Просто спазм. Тренировочные схватки — врач говорила, что такое бывает.

До срока оставалось несколько недель.

Но через минуту боль вернулась. Сильнее, злее. Я согнулась пополам, зажав рот ладонью, чтобы не закричать. Детдомовские не кричат. Нас отучили рано.

Простыня подо мной стала мокрой.

Воды.

— Нет, — прошептала я. — Нет, нет, рано...

Алёша толкнулся — сильно, тревожно. Будто тоже понял: что-то не так.

Я сползла с кровати. Ноги не держали — боль накатывала волнами, каждая сильнее предыдущей. Добралась до двери, застучала кулаком.

— Помогите! Пожалуйста! Роды!

Тишина.

Ночь. Санчасть. Дежурная сестра — где-то на другом кон-

це коридора, спит или курит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.